

Исследовательская рефлексия



DOI: 10.19181/inter.2026.18.1.3
EDN: IEVTEK

«Как Вы это называете?»: сенситивность, сопротивление и рефлексивность в поле постконфликтной памяти Чечни

Ссылка для цитирования:

Горюшина Е. М. «Как Вы это называете?»: сенситивность, сопротивление и рефлексивность в поле постконфликтной памяти Чечни // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2026. Т. 18. № 1. С. 57–73. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3> EDN: IEVTEK

For citation:

Goryushina E. M. (2026) "How Do You Name It?": Sensitivity, Resistance, and Reflexivity in the Field of Post-Conflict Memory in Chechnya. *Interaction. Interview. Interpretation*. Vol. 18. No. 1. P. 57–73. <https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3>



Горюшина Евгения Михайловна

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»;
Институт Китая и современной Азии РАН,
Москва, Россия
E-mail: egoryushina@hse.ru

Статья основана на многолетнем опыте полевой работы в Чечне и посвящена методологическим и этическим вызовам исследования памяти о вооруженных конфликтах в условиях ее тотальной секьюритизации. Анализируя практику сбора корпуса из более чем 150 полуструктурированных интервью с бывшими комбатантами и очевидцами событий 1994–2009 годов, автор рассматривает специфику чеченского поля как сенситивного в тройном измерении: как зоны политических табу, где публичное высказывание о прошлом жестко регламентировано; как пространства непроговариваемой травмы, защищенной сложными культурными механизмами; и как среды, где фигура исследователя сама становится источником потенциального риска для информантов, что требует особых протоколов безопасности и этической рефлексии.

В фокусе внимания — стратегии ведения интервью в условиях перманентного зондирования границ допустимого, ключевым маркером которого выступает вопрос-фильтр, определяющий саму возможность разговора:

«Как Вы это называете?». Анализируются переговорные практики выбора нейтрального лексикона, механизмы внутренней цензуры и самоцензуры, а также проблема архивации «неудобных» нарративов в ситуации, когда их публикация может быть небезопасной для респондентов. Особое внимание уделяется рефлексии позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы о войне, и тому, как гендерная и этническая маркированность исследователя как аутсайдера парадоксальным образом может становиться ресурсом для выстраивания доверия.

Центральным тезисом является утверждение о необходимости методологического сдвига: от попыток фиксации фактов — к анализу самих условий производства устной истории, где умолчания, паузы, лакуны и защитные речевые стратегии, коренящиеся в конфессиональном видении пережитого опыта, становятся ключевыми источниками для понимания работы памяти в постконфликтном обществе. Такой подход позволяет увидеть в ограничениях, накладываемых сенситивным полем, не препятствие, а ценный материал для анализа того, как травматическое прошлое продолжает жить в настоящем, будучи осмысленным сквозь призму религиозной традиции и коллективных представлений о судьбе и стойкости.

Ключевые слова: сенситивное поле; память о войне; постконфликтная память; устная история; полуструктурированное интервью; секьюритизация памяти; исследовательская этика; рефлексивность

Память о чеченских кампаниях 1994–1996, 1999–2001/2009 годов — классический пример сенситивного поля. В качественных исследованиях сенситивность предполагает работу с темами повышенного риска для участников и исследователя [Lee, 1993: 1–20], связанными с насилием, стигмой или актуальными политическими конфликтами. В исследованиях памяти сенситивность многократно усиливается: нарративы о прошлом становятся ресурсом легитимации, инструментом взаимных обвинений и объектом политического контроля. Говорить о прошлом в таком контексте — значит немедленно вступить в спор о настоящем, о границах допустимого и безопасного.

Поле памяти о чеченских конфликтах — пространство, где правила говорения подвижны, ситуативны и крайне зависимы от статуса собеседника, присутствия посредников и ощущения угрозы. Ключевой вопрос этой статьи заключается не в том, что помнят о войне в Чечне, а в том, как возможно (или невозможно) говорить об этом прошлом в условиях его тотальной секьюритизации и какие методологические и этические стратегии позволяет выработать позиция исследователя, находящегося одновременно внутри и снаружи этого поля.

Данная статья — рефлексия многолетнего (около девяти лет) опыта работы в этом поле. Ее задачи: во-первых, проанализировать сенситивное поле как источник данных, и, во-вторых, описать практики зондирования границ допустимого, ключевым маркером которых выступает вопрос-фильтр: «Как



Вы это называете?». В-третьих, проследить, как конфессиональный контекст формирует режимы умолчания и защиты от травмы. Наконец, отрефлексировать парадоксальные эффекты позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы. Итоговая цель — не столько представить новые исторические данные (многие из которых по-прежнему не могут быть обнародованы), сколько проанализировать условия их производства, или, точнее, систематического непроизводства. Возможен ли диалог о насилии там, где память о нем тотально секьюритизирована?

В основе статьи — анализ корпуса из более чем 150 полуструктурированных интервью, собранных в 2017–2024 годах. Материал демонстрирует, что с отменой режима контртеррористической операции (КТО) в 2009 году напряженность вокруг прошлого не исчезла, но трансформировалась. Прямые рассказы середины 2000-х к 2010-м годам сменились фрагментарными, аллегорическими нарративами и практикой избирательного умолчания. Зондирование границ стало обязательным ритуалом. В частности, респонденты настойчиво требовали определить, на каком языке исследователь будет говорить о событиях. «А Вы как это называете? Войной? Конфликтом? Кампанией?» — данный вопрос служил ключевым фильтром, определявшим саму возможность разговора. Таким образом, чеченское поле может быть рассмотрено через призму секьюритизации памяти. Вслед за Марией Мялскоо [Mälksoo, 2015] в статье под секьюритизацией памяти понимается процесс, при котором дискуссия о прошлом выводится из публичной сферы и переводится в плоскость политической безопасности, что делает саму постановку вопроса о травме или несправедливости потенциально опасным высказыванием. Важно подчеркнуть, что данный термин используется здесь не в своем исходном финансово-экономическом значении, а исключительно в рамках политической теории для описания механизмов властного контроля над историческим нарративом.

Далее в статье последовательно рассматриваются: выбор поля и методологический ответ на его вызовы; структура и внутренняя логика корпуса; влияние конфессионального контекста на режимы высказывания; материальный мемориальный ландшафт как отражение чувствительности; этика безопасности; и, наконец, рефлексия о позиции женщины-исследователя в поле, где доминируют мужские нарративы о войне. Сквозной тезис — необходимость смещения фокуса с погони за фактами на анализ условий производства речи, где лакуны и цензура выступают первичными источниками для понимания социальной травмы и власти в постконфликтном обществе.

Теоретическая рамка: чувствительность, секьюритизация и концептуализация травмы

Прежде чем перейти к анализу полевого материала, необходимо прояснить концептуальные основания исследования, а также дать определение ключевого, но часто размытого понятия «травма». В данной работе следует отказаться от клинического или психологизаторского понимания травмы

как диагноза (ПТСР) и от наивно-реалистического подхода, рассматривающего травматический опыт как нечто, что можно «извлечь» из респондента с помощью «правильных» вопросов. Данное исследование рассматривает травму как дискурсивный и культурный феномен, который не существует вне способов своего выражения и сокрытия [Douglass, Vogler, 2003].

В этом контексте травма — это не событие прошлого, а разрыв в ткани настоящего, который проявляется в сбоях нарратива: в лакунах, оговорках, паузах, в переключении с индивидуального языка уязвимости на коллективный язык религиозной стойкости, в отказе от психологизации в пользу сакрализации. Иными словами, изучается не сама травма, а те культурные и политические механизмы, которые она приводит в действие и которые, в свою очередь, формируют режимы высказывания.

Такой подход напрямую связан с пониманием сенситивного поля. Поэтому сенситивность будет определяться через потенциальную угрозу для участников и исследователя. Однако в контексте Чечни эта угроза имеет тройную природу. Во-первых, это политическая угроза, проистекающая из секьюритизации памяти [Mälksoo, 2015], где дискуссия о прошлом становится вопросом безопасности. Во-вторых, это угроза социальная и культурная, связанная с нарушением принципа осмотрительности (чеч. *хьожуш хилар*) и неписаных правил гендерного и профессионального этикета. В-третьих, это угроза экзистенциальная, коренящаяся в невозможности вместить опыт насилия в рамки линейного биографического рассказа.

Поэтому исследовательское внимание смещается с попыток верификации свидетельств на анализ политики и поэтики самого свидетельства. Память в этой перспективе — вовсе не архив фактов, а поле битвы за легитимный язык описания прошлого, где молчание зачастую говорит громче слов.

Почему Чечня? Выбор исследовательского поля

Выбор Чеченской Республики в качестве исследовательского поля определили методологические, временные и организационные факторы. Работа в рамках гранта РФФИ, начатая в 2017 году, предполагала изучение не только исторических, но и современных конфликтов. Чеченские кампании представляли собой уникальный кейс, поскольку временная дистанция между окончанием активной фазы боевых действий (режим КТО был снят 16 апреля 2009 года) и временем исследования составляла всего около восьми лет. Такая хронологическая близость создавала условия, при которых процессы формирования памяти и идентичности находились в активной, сырой фазе, а их носители оставались непосредственными и вполне современными акторами.

При этом в общественном и академическом восприятии регион устойчиво маргинализировался как пространство потенциальной опасности, о чем свидетельствовали стереотипные вопросы, которые мне, как исследователю, постоянно задавали коллеги и просто знакомые за пределами региона: «Безопасно ли там?», «Стреляют ли еще?», «Война вообще закончилась?».



Сама устойчивость этих вопросов указывала на колоссальный разрыв между реальностью поля и его образом во внешнем мире. Возникал парадокс: поле было высоко актуальным для анализа становящихся нарративов, но оставалось периферийным в практике эмпирических социальных исследований.

Критическим обстоятельством, во многом определившим дизайн исследования, стала внутренняя динамика исследовательского коллектива проекта РНФ¹. Мужская часть группы, сославшись на соображения безопасности, предпочла ограничиться анализом вторичных данных, что де-факто сделало полевую работу исключительно моей задачей. Вместо того чтобы интерпретировать этот факт в категориях личной оценки (как избегание), его следует рассматривать как важный диагностический маркер самого поля. Оценка риска мужчинами-коллегами, их отказ от прямого контакта с полем — эмпирическое свидетельство высокой степени чувствительности и перформативной маскулинной опасности, которой наделяется чеченский контекст в академическом и экспертном воображении.

К 2023 году, в рамках уже другого проекта РНФ², поле перестало быть лакуной, куда нужно пробиваться в одиночку. Оно превратилось в проработанный эмпирический ландшафт, где стало возможно изучать не наличие памяти, а механизмы ее закрепления. Смена фокуса с вопроса: «Есть ли там что исследовать?» — на вопрос: «Как именно это работает?» — и оказалась главным маркером того, что поле состоялось.

Материал и дизайн исследования

Эмпирическую основу составляют более 150 полуструктурированных интервью, собранных в 2017–2024 годах. Выборка формировалась по принципу целевого отбора и снежного кома через сети доверия, где ключевую роль играли посредники и личные рекомендации, служившие залогом безопасности [Lee, 1993: 88–92]. В корпус вошли свидетельства людей, чьи биографии напрямую затронуты чеченскими кампаниями: тех, кто прожил этот период на территории Чеченской Республики, был вынужден ее покинуть или чья траектория оказалась вовлечена в логику конфликта. Градация по степени вовлеченности в вооруженные действия в интервью отсутствовала, так как респонденты описывали свой опыт исключительно через призму повседневного выживания, потери и адаптации к экстремальным обстоятельствам.

Инструментарий претерпел существенную адаптацию [Kvale, Brinkmann, 2009]. Первоначальный опросник, разработанный руководителем проекта в 2017 году на основе методик работы с ветеранами Великой Отечественной войны, оказался нефункциональным в чеченском поле. Пилотное тестирование в Ростовской области (2017) показало его полную несостоятельность,

¹ РНФ № 17-18-01411 «Война и население юга России: история, демография, антропология» (2017–2019 гг.).

² РНФ № 23-28-01643 «Институционализация коллективной памяти в постконфликтный период в Чечне: динамика и закономерности» (2023–2024 гг.).

поскольку вопросы, рассчитанные на иную нарративную (и религиозную) традицию, вызывали лишь настороженное молчание или формальные отказы. Потребовалась полная переработка инструмента с учетом локального контекста, сенситивности темы и коммуникативных норм.

Итоговый (опорный) опросник включал 67 вопросов. Первые пять касались базовых демографических данных и контекста биографии. Основной блок, построенный по тематическому принципу, фокусировался на повседневных практиках, стратегиях выживания, восприятию пространства и времени в период конфликта, а также на современных интерпретациях прошлого. Ключевым элементом протокола стало процедурное и этическое оформление интервью [Kvale, Brinkmann, 2009]. Перед каждой беседой информанту предоставлялся документ (договор) о добровольном информированном согласии, где фиксировались цели исследования, гарантии анонимности (с возможностью выбора псевдонима или полного отказа от идентификации), условия использования материалов исключительно в научных целях и право респондента прекратить интервью в любой момент. Исследователь принимала на себя полную ответственность за аудиозапись (если она разрешалась), ее расшифровку, безопасное хранение и неразглашение. Этот протокол, хотя и воспринимался частью респондентов с недоверием, служил важным инструментом легитимации исследования и создания минимальных рамок безопасности для обеих сторон.

Организация полевой работы и эволюция корпуса

Полевые исследования проводились в формате экспедиций продолжительностью 10–14 дней. Ключевой особенностью стал принцип размещения. Я сознательно избегала проживания в гостиницах, останавливаясь, как правило, в чеченских семьях либо в обычной квартире не в центре чеченской столицы. Это проживание на гостеприимных началах (чеч. *хьошалла*) было не столько бытовым решением, сколько методологической практикой [Fujii, 2018]. Оно позволяло выстраивать доверие органично, включаться в повседневный ритм, наблюдать невербальные контексты и получать доступ к историям в неформальной обстановке, что принципиально невозможно при «приездном» формате.

География работы сознательно не ограничивалась Чеченской Республикой и включала регионы с чеченской диаспорой, а также места проживания вынужденных переселенцев: Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Москву и Московскую область. Работа в диаспоре, также часто построенная на принципе гостеприимства, создавала иную коммуникативную среду, позволяя обсуждать прошлое в условиях большей дистанции от актуального политического контекста республики.

Доступ к респондентам-чеченцам был жестко опосредован сетями доверия, требовал гарантий влиятельных посредников и почти всегда ограничивался рамками, задаваемыми информантами (анонимность, отказ от аудиозаписи,



контроль тем). Поэтому корпус интервью, сфокусированный на чеченских нарративах, сложился как вынужденный компромисс. Он отражает структуру условной коммуникации, где сама возможность разговора — редкий и строго обусловленный ресурс.

Подобная обусловленность коммуникации напрямую влияла на технику фиксации материала, потребовав разработки гибкого протокола работы с данными. В ситуации, когда доступ к нарративу определялся ограничивался рамками, задаваемыми информантами, единый стандарт записи оказался невозможен. В ответ на эти вызовы сложилась ситуативная, но строго документируемая система, которую можно назвать разделенным протоколом. Решение о способе фиксации принималось в каждом конкретном случае исходя из уровня доверия и прямого требования респондента и незамедлительно фиксировалось в полевом дневнике.

Первый режим — аудиозапись на диктофон. Она применялась только при явном информированном согласии респондента. Как правило, это происходило на поздних этапах работы, после нескольких неформальных встреч или при посредничестве особо доверенного лица. В таких ситуациях диктофон выступал гарантом серьезности намерений исследователя. Такие интервью давали наиболее развернутые и нарративно связанные тексты.

Второй, наиболее распространенный режим — параллельное конспектирование от руки. Респондент соглашался на беседу, но категорически запрещал аудиозапись. В этом случае велись подробнейшие записи непосредственно во время интервью. Это неизбежно меняло динамику разговора — паузы удлинялись, темп снижался, — но позволяло фиксировать смысловые блоки, ключевые фразы и логику повествования. Сразу после интервью, в тот же день, эти наброски расшифровывались и по свежим следам дополнялись в электронном виде.

Третий режим — реконструкция интервью, или запись по памяти. Он применялся в наиболее напряженных или неформальных ситуациях (например, при случайных разговорах в машине, в моменты, когда сам факт записывания мог разрушить хрупкое доверие). В таких случаях никаких записей в момент разговора не велось. Однако сразу по возвращении в место проживания производились максимально детальные записи всего, что удалось запомнить, фиксировались не только факты, но и атмосфера, жесты, общий настрой собеседника.

Принципиально важно, что тип фиксации каждого интервью строго задокументирован в полевом дневнике и метаданных архива. Контроль за субъективностью исследователя в такой системе обеспечивался не внешней верификацией (которая в данных условиях часто невозможна), а внутренней рефлексивностью: постоянным сравнением данных, полученных разными способами, анализом того, почему в одном случае стала возможна запись, а в другом — нет. Сами условия фиксации, таким образом, становились не технической деталью, а частью данных о сенситивности поля.

Формирование финального фокуса исследования стало результатом двойной логики — научной целесообразности и полевой необходимости. В ходе

пилотных интервью выяснилось, что нарративы бывших военнослужащих федеральных сил требуют отдельного исследовательского дизайна. Смысловые рамки, мотивационные структуры и языки описания опыта у ветеранов первой (1994–1996) и второй (1999–2001/2009) кампаний оказались глубоко различны [Горюшина, 2019: 241], что указывало на необходимость их изолированного анализа в рамках другого проекта. Это позволило сконцентрироваться на группе, являвшейся основным объектом насилия и политики памяти, чьи нарративы производились в режиме постоянного внешнего и внутреннего контроля. Интервью с «федералами», представляющие безусловную ценность, составили отдельный архив и выведены за рамки настоящего анализа.

Структура корпуса и его внутренняя логика

Важнейшая характеристика корпуса — выраженная демографическая однородность. Подавляющее большинство респондентов — мужчины чеченской национальности, мусульмане-сунниты не младше 38–40 лет на момент сбора интервью. Эта тройная рамка (гендерная, этническая, конфессиональная) структурировала полевые взаимодействия, доступ к нарративам и сами режимы говорения. Данная асимметрия отражает не только ограничения доступа, но и нарративное неравенство, заложенное в поле публичной памяти, где мужчины исторически обладают символической монополией на свидетельство о войне как о публично-политическом событии.

Мужские нарративы конструировались вокруг сюжетов мобильности, проверок, «зачисток», стратегий выживания и сложных решений в условиях крайней необходимости. Отдельной и этически насыщенной темой выступала погребальная практика. В исламской традиции, требующей предать тело земле как можно быстрее (до заката), ритуал похорон в условиях постоянной угрозы превращался в акт высочайшего морального долга и экзистенциального выбора. Так, один респондент описал ситуацию, когда мужчины несли тело убитого односельчанина, завернутое в ковер, по открытому полю под обстрелом. Они стояли перед неразрешимой дилеммой: исполнить религиозный долг, рискуя жизнью, или поддаться инстинкту самосохранения. Этот случай обнажал конфликт между священным предписанием и предельной уязвимостью, переводя тему смерти из плана личной утраты в план коллективной этической травмы.

Знаковым методологическим переломом стало интервью 2020 года, где респондент, избегая политических оценок, описал участие в вооруженном формировании как сугубо прагматический акт — единственную доступную стратегию выживания и обеспечения своей семьи. Этот нарратив не только выявил мотивационную сложность, остающуюся за рамками публичных дискуссий, но и продемонстрировал, как внутренняя логика поля предопределяет доступные сценарии артикуляции опыта.

Немногочисленные женские интервью раскрывали иное измерение опыта, сосредоточенное на воспроизводстве повседневности в условиях



коллапса. Их относительная редкость в корпусе — также симптом специфики сенситивного поля, где частные, «домашние» измерения травмы вдвойне защищены: общим страхом перед любыми высказываниями и гендерными нормами, ограничивающими публичность женского голоса. Женщины-респондентки фокусировались на утратах, заботе и поддержании жизни. Их рассказы были насыщены конкретикой: как разводили костры во дворах пятиэтажек, чтобы приготовить еду на целый подъезд; как в районе Старых промыслов месяцами обходились без электричества, а его подача вызвала почти шок от непривычно яркого света.

Таким образом, демографический состав корпуса и тематическое различие нарративов стали объектом критической рефлексии. Мужские истории об этике смерти и женские нарративы об этике выживания образуют две взаимодополняющие системы свидетельства, ставшие доступными исследователю ровно в той мере, в какой это позволяла логика принудительной селективности поля.

Конфессиональный контекст и его влияние на режимы высказывания

Доминирование респондентов-мусульман отражает укорененность коллективной памяти в религиозно-культурном этосе. В рамках местной традиции память о коллективном страдании подвергается интенсивной этизации и сакрализации. Однако ее осмысление редко носит характер открытого политического протеста. Оно инкорпорируется в рамки религиозного мировосприятия, где испытания интерпретируются через призму веры, стойкости и неизбежных жизненных трудностей. Это формирует нарративный режим, для которого характерен уход от прямой исторической или политической каузальности.

Рассказ о трагических событиях нередко облекается в формулы, минимизирующие личную агентность. Как следствие, попытки обсуждения конкретных моральных дилемм, личной ответственности или критической оценки действий сторон часто наталкивались на мощный культурно-религиозный барьер, ограничивающий рефлексивность и перенаправляющий ее в плоскость коллективной солидарности, долга перед семьей и тейпом.

Полевая работа осложнялась необходимостью постоянной адаптации к строгим нормам гендерного и религиозного этикета (адата и шариата). Как женщина-исследователь, я была вынуждена тщательно соблюдать писанные и неписанные правила чеченской коммуникации, что жестко регламентировало условия любой встречи. В некоторых случаях становились обязательными присутствие третьих лиц (родственников-мужчин), выбор строго определенных, «разрешенных» пространств (например, помещения дома, но при открытых дверях), ограничения в невербальном поведении — все это формировало исходные рамки диалога. Парадоксальным образом, изначально маркированная и ограничивающая позиция в ряде случаев открывала пространство

для неожиданной откровенности. Будучи воспринятой как лицо, заведомо лишенное авторитета в «мужских» вопросах войны и политики, я могла фиксироваться респондентом как «безопасный» и «некомпетентный» слушатель. Это иногда позволяло уйти от ожидаемых героических клише к обсуждению будничных, но экзистенциально важных тем: глубоко скрываемого страха, экономических и бытовых стратегий выживания семьи. Ключевую роль в легитимации моей работы сыграло сопровождение коллеги-чеченца, чье присутствие гарантировало соблюдение норм и служило мостом доверия.

Важнейшим фактором, влияющим на производство речи в постконфликтной Чечне, является принцип осмотрительности. Эта социальная практика, сопоставимая со стратегией сокрытия уязвимости перед лицом внешней силы, в данном контексте приобрела характер повседневной технологии выживания. В полевой работе данный принцип материализовался в диалогах с мужчинами-респондентами. Нередко дискуссия упиралась в категорическое заявление, служившее риторическим щитом, закрывающим дальнейшую рефлексию: «Я тебе говорю, что это так и не иначе». Прямые отсылки к этой логике звучали и в более личных признаниях, четко выражавших внутренний запрет на демонстрацию слабости: «Я не хочу показывать свои уязвимости».

Особенно показательным был религиозный нарративный щит, активировавшийся при попытке обсудить психологические последствия травмы. На прямой вопрос о ПТСР или психологической реабилитации следовала характерная реакция: «Мы — мусульмане. Дуа и намаз излечивают любые душевные раны». Этот ответ — многослойный культурный акт. Он перекодирует травму из медицинской плоскости в плоскость религиозного испытания, делегитимизирует необходимость профессиональной психологической помощи как чуждую практику и окончательно закрывает болезненную тему. Вера становится социально одобряемым способом отказа от публичной рефлексии о личной уязвимости.

Этот отказ от психологизации опыта в пользу его сакрализации — ключевой элемент местной психологии выхода из войны. Он позволяет сохранить целостность личности и групповую солидарность, не прибегая к языку травмы, который может быть воспринят как признак слабости или неверия. В интервью такая установка проявлялась как избирательная искренность. Респондент мог детально описывать физические лишения, но переходил к религиозным формулам или умолчанию, как только разговор касался моральных оценок, дилемм насилия или роли конкретных акторов в чеченском конфликте.

Этика безопасности и аналитическая рефлексия

Работа в чеченском чувствительном поле требовала балансирования между научным интересом и минимизацией двусторонних рисков. Для респондентов это были риски публичности, репутационных потерь или преследований. Для исследователя — риск ретроспективного использования материалов в изменившемся контексте, когда сегодняшняя нейтральная расшифровка



завтра может быть воспринята как компромат. В ответ сформировалась стратегия отсроченной архивации и разделенного хранения данных [Wood, 2006: 373–386]. Чувствительные аудиозаписи и расшифровки кодировались и хранились отдельно от анкет. Полевые заметки велись от руки и хранились обособленно. Часть интервью изначально собиралась с расчетом на анализ в будущем, когда изменение ситуации сделает их публикацию допустимой и безопасной. Это выступило осознанной политикой ответственности за собранные личные данные.

Методологическим ключом к снижению напряжения стал выбор нейтрального, деполитизированного лексикона. Использование официальной формулировки «внутренний вооруженный конфликт» (вместо эмоционально заряженных «война» или «антитеррористическая операция») служило важным сигналом, демонстрирующим намерение вести диалог в рамках условно-нейтрального языка, а не вовлекаться в идеологический спор. Для многих респондентов это также становилось знаком того, что исследователь понимает степень табуированности темы и ищет максимально безопасную форму для ее обсуждения.

Подобная осторожность распространялась и на обращение с академическим канонем. Критические оценки респондентами ряда работ (в частности, монографии В. А. Тишкова «Общество в вооруженном конфликте», 2001), воспринимаемых частью чеченской интеллигенции как взгляд «извне» и «сверху», служили важным маркером чувствительности. Они указывали на разрыв между официальным академическим знанием о конфликте и его приватным, эмоционально переживаемым образом в памяти сообщества. Однако, будучи частью академического пространства, я не могла позволить себе открытую рефлексию об этих оценках в публикациях, это поставило бы под удар возможность дальнейшей работы. Ситуация ярко иллюстрирует, как чувствительное поле диктует условия молчания не только респондентам, но и исследователю, вынуждая его к стратегической самоцензуре.

Особого проговаривания в этом контексте требует вопрос о моем соавторстве с чеченскими коллегами (см., например, [Осмаев, Горюшина, 2023; Горюшина, Алхастова, 2023]). В академическом пространстве сложилась негласная, но отчетливо ощутимая монополия чеченских исследователей на производство знаний о Чечне. В этой логике (теоретически) «аутсайдер» может претендовать лишь на роль технического соавтора или интерпретатора, но не на единоличный голос. Я рассматриваю эту ситуацию не как ограничение, а как еще одно проявление чувствительности поля, но уже в его академическом измерении. Во-первых, это маркер глубокой укорененности темы, поскольку память о конфликте остается прерогативой тех, кто разделяет коллективный опыт, и любое вторжение извне требует легитимации через включенность в местные сети (в том числе через соавторство). Во-вторых, это форма этического контроля. Поэтому присутствие соавтора-чеченца в публикации служит для меня как для исследователя дополнительной гарантией того, что мой взгляд не станет невольным воспроизводством колониальной оптики, а интерпретация не нарушит локальных культурных и этических норм.

Следовательно, соавторство в данном случае служит не столько академической практикой, сколько осознанной этической стратегией, позволяющей балансировать между правом на исследование и признанием права сообщества на собственный нарратив.

Данный подход был напрямую связан с центральным аналитическим смещением. Я изначально отказалась от задачи установления объективных фактов или верификации свидетельств в пользу анализа самих режимов говорения о прошлом [Fujii, 2010: 231–241]. Интервью в такой парадигме не могло выступать источником «правды», оно выполняло функцию доступа к тому, как человек здесь и сейчас реконструирует свою биографию в травматическом пространстве, пронизанном политическими табу и культурными кодами.

Наиболее ярко эта связь проявилась в проблеме номинации событий. Предварительное зондирование — «Как Вы это называете?» — было ключевым элементом полевого протокола. Согласие респондента говорить о «конфликте» или его твердое: «это была война», — мгновенно выстраивало смысловые границы [Thompson, Bornat, 2017] и определяло уровень доверия. Это было особенно значимо на фоне исторического контекста, в котором первая кампания пришлась на период, когда постсоветская Россия сама находилась в поиске языка для самоопределения.

Важной особенностью стало глубинное историческое наложение травм. Для многих респондентов кампании 1990-х — 2000-х годов воспринимались не как изолированное событие, а как прямое продолжение коллективной травмы насильственного выселения (в общепринятом дискурсе — депортации) 1944 года. В таком нарративе война представляла новым витком длительной исторической стигматизации, что придавало личным историям измерение общенациональной судьбы [Горюшина, Алхастова, 2023: 46]. Этот взгляд подкреплялся символическим разрывом в речи: Чечня или Кавказ часто противопоставлялись России, а поездка в Москву описывалась как путешествие в Россию. Такая языковая маркировка фиксировала не только географическое, но и культурно-цивилизационное отдаление, ощущение себя вне общего политического пространства.

Каждое интервью строилось на двойной оптике. Респондент, рассказывая о похоронах под обстрелом, имплицитно или эксплицитно давал оценку смене эпох — переходу от советской нормативности к хаосу 1990-х и новой авторитарной стабильности 2000-х. Задача исследователя заключалась в том, чтобы удерживать в фокусе оба плана, видя в частной истории точку входа в понимание работы коллективной памяти и механизмов ее политической секьюритизации.

Женщина-интервьюер в мужском опыте войны

Моя позиция женщины-исследовательницы, «аутсайдера» и по этничности, и по гендеру в поле, где доминировали мужские нарративы о войне, создавала комплекс парадоксальных условий. С одной стороны, в классической полевой



методологии считается, что интервьюеру-женщине зачастую легче устанавливать контакт с респондентами-мужчинами. С другой — в патриархальном чеченском обществе это «преимущество» превращалось в дополнительную сложность. Существовал риск, что меня как «пришлую» женщину могли воспринять не как нейтрального исследователя, а как объект для проявления симпатии или, наоборот, строгого игнорирования согласно гендерным нормам.

Ключом к преодолению этого барьера стала осознанная стратегия культурной мимикрии при жестком соблюдении профессиональных границ. Я целенаправленно воспроизводила внешние атрибуты, сигнализирующие об уважении к местному укладу: закрытая одежда, юбка в пол, платок на плечах. Это было не «ряженьем», а невербальным коммуникативным кодом: «Я знаю ваши правила и готова их соблюдать». Адаптация достигала уровня телесного автоматизма. Я усвоила норму, согласно которой в присутствии вошедшего мужчины женщине следует привстать в знак приветствия. Это правило настолько укоренилось, что я ловила себя на том, что автоматически встаю при аналогичной ситуации уже в московской, нечеченской среде. Этот мелкий эпизод иллюстрирует, насколько глубоко сенситивное поле способно перестраивать подсознательные реакции исследователя.

Одновременно я не допускала размывания собственной профессиональной идентичности. Четкое выстраивание границ, сдержанность в сочетании с серьезным интересом к культуре постепенно способствовали формированию уважительного отношения. Поле заставило меня играть по его правилам, но я использовала эти правила для легитимации своего присутствия. Эффект был настолько глубоким, что в Грозном местные жители начинали обращаться ко мне на чеченском, не идентифицируя как очевидную «чужую». Это был знак поверхностного, но значимого принятия.

Мужчины-респонденты, особенно имевшие опыт вооруженного противостояния, изначально воспринимали интервью как нечто формальное и подозрительное. Однако моя маргинальная роль «не-мужчины», «не-участника», «не-чеченки» постепенно стала работать на формирование специфического доверия. Я не была частью их внутреннего мира воинской, национальной и религиозной солидарности, не могла претендовать на авторитетное понимание их опыта — и это парадоксальным образом стимулировало нарратив. Со мной можно было говорить не как с судьей или оппонентом, а как с заинтересованным фиксатором истории, которую, возможно, стоит сохранить, но сохранять страшно. Как метко обозначил один из респондентов, такая динамика строилась на восприятии меня как не-угрозы: «...Ты сама провоцируешь с тобой разговаривать как с корешем».

Доверие в этой системе координат не завоевывалось, а выращивалось постепенно [Горюшина, 2019: 99]. Работа привела к формированию почти дружеских связей с целыми семьями. Меня приглашали в гости, и я принимала эти приглашения, проживая несколько дней в домах респондентов, что давало уникальный доступ к повседневному контексту. Наиболее показательны два исключительных случая. В 2020 году одна семья разрешила мне провести месяц Рамадан в их доме, присутствовать почти на всех ифтах.

Другая семья меня пригласила уже не только как исследователя, но и как специалиста для каталогизации семейного архива — фотографий и вещей, сохранившихся со времен депортации 1944 года. Эти ситуации стали высшей формой признания, прорывом из плоскости «интервьюер — информант» в плоскость человеческих отношений.

Таким образом, гендерная и этническая позиция «аутсайдера» оказалась уникальным инструментом переговорного процесса. Она требовала постоянной работы по легитимации, но, будучи правильно выстроенной, позволяла занять особую нишу — не «своей», но и не «чужой» в классическом смысле, а признанного и уважаемого стороннего наблюдателя. Этот опыт показывает, что в чувствительных полях успех зависит не от стирания собственной идентичности, а от умения сделать ее предметом осознанной рефлексии и инструментом выстраивания ситуативных форм доверия.

Заключение

Исследование памяти о чеченских кампаниях в постконфликтной фазе подтверждает, что подобное поле является чувствительным в полном смысле слова. Его чувствительность имеет три источника: политической секьюритизации прошлого, остающегося инструментом легитимности и контроля; глубины незаживших личных и коллективных травм; и, наконец, того, что сам акт исследования создает потенциальные риски как для информантов, так и для интервьюера. В таких условиях классические методы устной истории, направленные на реконструкцию событий, уступают место методологии, фокусирующейся на анализе условий производства нарративов.

Принятая в данной работе концептуальная рамка, рассматривающая травму не как событие, а как нарративный сбой, а чувствительность — как многомерное поле напряжений, позволила перейти от вопроса, *что* случилось, к вопросу, *как* об этом возможно говорить.

Основные выводы могут быть сведены к нескольким ключевым тезисам.

Во-первых, поле активно структурирует исследовательский корпус, навязывая жесткую селективность. Доминирование мужских, чеченских, мусульманских нарративов — не просчет выборки, а прямое следствие того, как политические и культурные табу делают иные опыты (женские, нечеченские, светские) практически невидимыми.

Во-вторых, коммуникация в поле регулируется комплексными защитными механизмами, центральный из которых — принцип осмотрительности. Он проявляется в риторических щитах, категоричных утверждениях и специфическом религиозном щите, переводящем травму в сакральную плоскость. Вера становится формой сопротивления внешним моделям психологической реабилитации и языку индивидуальной уязвимости.

В-третьих, чувствительность поля материализуется в пространстве. Мемориальный ландшафт кладбищ выступает как немой, но красноречивый текст, в котором фиксируются те же процессы ассимиляции, умолчания



и перекодирования памяти, что и в устных нарративах. Уход за чужими могилами по своим канонам — акт не только этики соседства, но и молчаливого редактирования коллективного прошлого.

В-четвертых, позиция исследователя в таком поле, особенно маркированная гендерно и этнически как позиция «аутсайдера», требует постоянной рефлексивной работы и тактической адаптации. Культурная мимикрия и соблюдение локальных норм не гарантируют, но создают возможность для выстраивания ситуативного доверия, которое может стать основой для доступа к наиболее глубоким пластам памяти.

Работа в сенситивном поле Чечни демонстрирует, что главным объектом анализа становятся не факты, а сами ограничительные рамки говорения: лакуны, умолчания, цензура, защитные риторические стратегии [Portelli, 2016: 51]. Эти умолчания и обходные маневры — наиболее достоверные источники для понимания того, как травматическое прошлое продолжает жить в настоящем, как оно управляется и как ему сопротивляются на уровне индивидуальных биографий и коллективной культуры. Исследователь в таком поле превращается не в собирателя свидетельств, а в интерпретатора сложной системы сигналов и пропусков, где умение прочесть отсутствующее и есть ключ к пониманию работы памяти в условиях несвободы.

Литература / References

Горюшина Е. М. Интервью с очевидцами постсоветских конфликтов на Юге России: специфика проведения и возможности использования как источников // Русский архив. 2019. Т. 7. № 2. С. 95–103. EDN: RYTLKC DOI: <https://doi.org/10.13187/ra.2019.2.95>

Goryushina E. M. (2019) Interviews with Eyewitnesses to the Post-Soviet Conflicts in the South of Russia: Specifics of Interviewing and Opportunities as Historical Sources. *Russkiy arkhiv* [Russian Archive]. Vol. 7. No. 2. P. 95–103. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.13187/ra.2019.2.95>

Горюшина Е. М. Рядовой бесславной войны: интервью с участником зимнего штурма Грозного 1994 г. // Новое прошлое. 2019. № 1. С. 238–268. EDN: MRVOLD DOI: <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2019-1-238-268>

Goryushina E. M. (2019) A Private of the Inglorious War: An Interview with a Participant in the Winter Assault of the Grozny in 1994. *Novoe proshloe* [The New Past]. No. 1. P. 238–268. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.23683/2500-3224-2019-1-238-268>

Горюшина Е. М., Алхастова З. М. Внутри мемориальной культуры Чеченской Республики: от настоящего к воссоздаваемому прошлому // Tempus et Memoria. 2023. Т. 4. № 2. С. 42–49. DOI: <https://doi.org/10.15826/tetm.2023.2.050>

Goryushina E. M., Alkhastova Z. M. (2023) Inside the Memorial Culture of the Chechen Republic: From the Present to a Recreated Past. *Tempus et Memoria*. Vol. 4. No. 2. P. 42–49. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.15826/tetm.2023.2.050>

Осмаев А. Д., Горюшина Е. М. Институционализация коллективной памяти тайпов/братств в постконфликтной Чеченской Республике // История, археология и этнография Кавказа. 2023. Т. 19. № 4. С. 1110–1123. DOI: <https://doi.org/10.32653/CH19411110-1123>

Osmaev A. D., Goryushina E. M. (2023) Institutionalization of the Collective Memory of Taips/Fraternities in the Post-Conflict Chechen Republic. *Istoriya, arkhologiya i etnografiya Kavkaza* [History, Archeology and Ethnography of the Caucasus]. Vol. 19. No. 4. P. 1110–1123. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.32653/CH19411110-1123>

Douglass A., Vogler T. A. (eds.). (2003) *Witness and Memory: The Discourse of Trauma*. London; New York: Routledge.

Fujii L. A. (2018) *Interviewing in Social Science Research: A Relational Approach*. London; New York: Routledge.

Fujii L. A. (2010) Shades of Truth and Lies: Interpreting Testimonies of War and Violence. *Journal of Peace Research*. Vol. 47. No. 2. P. 231–241.

Kvale S., Brinkmann S. (2009) *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE.

Lee R. M. (1993) *Doing Research on Sensitive Topics*. London: SAGE.

Mälksoo M. (2015) Memory Must Be Defended: Beyond the Politics of Mnemonical Security. *Security Dialogue*. Vol. 46. No. 3. P. 221–237. DOI: <https://doi.org/10.1177/0967010614552549>

Portelli A. (2016) What Makes Oral History Different. In: Perks R., Thomson A. (eds.) *The Oral History Reader*. London; New York: Routledge. P. 48–58.

Thompson P., Bornat J. (2017) *The Voice of the Past: Oral History*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.

Wood E. J. (2006) The Ethical Challenges of Field Research in Conflict Zones. *Qualitative Sociology*. Vol. 29. No. 3. P. 373–386.

Сведения об авторе:

Горюшина Евгения Михайловна — кандидат политических наук, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), заместитель директора Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; руководитель сектора кавказских исследований, Институт Китая и современной Азии РАН, Москва, Россия. **E-mail:** egoryushina@hse.ru. **РИНЦ Author ID:** [645383](https://elibrary.ru/author/id645383); **ORCID ID:** [0000-0003-1800-9890](https://orcid.org/0000-0003-1800-9890); **ResearcherID:** [J-4052-2018](https://www.researcherid.com/rid/J-4052-2018).

Статья поступила в редакцию: 13.02.2026

Принята к публикации: 18.03.2026

БАК: 5.4.4

.....

“How Do You Name It?": Sensitivity, Resistance, and Reflexivity in the Field of Post-Conflict Memory in Chechnya

DOI: [10.19181/inter.2026.18.1.3](https://doi.org/10.19181/inter.2026.18.1.3)

Evgeniya M. Goryushina

*HSE University; Institute of China and Contemporary Asia of the RAS, Moscow, Russia
E-mail: egoryushina@hse.ru*

This article draws on many years of fieldwork experience in Chechnya and addresses the methodological and ethical challenges of researching the memory of armed conflicts under conditions of its total securitization. Analyzing the practice of collecting a corpus of more than 150



semi-structured interviews with former combatants and witnesses of the events of 1994–2009, the author examines the specificity of the Chechen field as a “sensitive” one in a threefold dimension: as a zone of political taboos, where public speech about the past is strictly regulated; as a space of unspoken trauma, protected by complex cultural mechanisms; and as an environment where the figure of the researcher itself becomes a source of potential risk for informants, necessitating special safety protocols and ethical reflection.

Attention is focused on interview strategies under conditions of the constant probing of the boundaries of the permissible, the key marker of which is the filter question “How do you call it?” that determines the very possibility of conversation. The analysis covers the negotiation practices of choosing neutral lexicon, the mechanisms of internal censorship and self-censorship, and the problem of archiving “inconvenient” narratives in a situation where their publication could be unsafe for respondents. Special attention is paid to reflecting on the position of a female researcher in a field dominated by male narratives of war, and to how the gendered and ethnic markedness of the “outsider” can, paradoxically, become a resource for building trust.

The central thesis asserts the necessity of a methodological shift: from attempts to record “facts” towards an analysis of the very conditions of the production of oral history, where silences, pauses, lacunae, and defensive speech strategies rooted in a confessional vision of lived experience become key sources for understanding the workings of memory in a post-conflict society. This approach allows us to see the constraints imposed by the sensitive field not as an obstacle, but as valuable material for analyzing how the traumatic past continues to live in the present, interpreted through the prism of religious tradition and collective notions of fate and fortitude.

Keywords: sensitive field; war memory; post-conflict memory; oral history; semi-structured interview; securitization of memory; research ethics; reflexivity

Author Bio:

Evgeniya M. Goryushina — Candidate of Politics, Researcher, Research Fellow, Centre for Comprehensive European and International Studies, Deputy Director, Centre for Strategic Studies, Institute of World Military Economy and Strategy, HSE University; Head of Caucasian Researches Sector, Institute of China and Contemporary Asia of the RAS, Moscow, Russia. **E-mail:** egoryushina@hse.ru. **RSCI AuthorID:** 645383; **ORCID ID:** 0000-0003-1800-9890; **ResearcherID:** J-4052-2018.

Received: 13.02.2026

Accepted: 18.03.2026